ВАЛЕРИЙ МАТИСОВ
дипломат

СРЕДЬ ХРУПКИХ МУЗ И МУДРЫХ ДЯДЕК...

Главы из книги

Чуть побольше слов о себе любимом

Родился я в 1940 г. в семье электромонтера и лаборантки. Отец в детстве был беспризорником, воспитывался в детском доме, в середине 1920-х гг. (ему было тогда лет шестнадцать-семнадцать) уехал на Дальний Восток строить Комсомольск-на-Амуре, а потом, начиная с 30-х гг., всю жизнь работал электриком в Москве. В те годы, когда повсюду зажигались «лампочки Ильича», это было престижно и зарабатывал он хорошо, а уже после войны, когда план ГОЭЛРО был давно претворен в жизнь и электромонтеров развелось, как сейчас операторов-компьютерщиков, платить стали меньше, а работать — все труднее. В предпраздничные дни 1 мая или 7 ноября, когда надо было делать праздничную иллюминацию, приходилось вворачивать тысячи и тысячи лампочек, чтобы где-нибудь на здании телеграфа загорелось в ночи «Слава КПСС!» или «Нынешнее поколение будет жить при коммунизме!». Спецтехники было мало, приходилось висеть на скользких карнизах домов при дожде и ветре и натягивать сотни и сотни метров электропроводов с гирляндами лампочек, чтобы москвичи и гости столицы знали, как мы будем хорошо жить. Отец был человеком неглупым, читающим, хотя имел лишь 4 класса и рабфак.

От шестнадцатилетнего романтика и строителя коммунизма не осталось и следа. К тому времени, когда я стал что-то соображать, конечно, еще по-детски, то есть годам к шести-семи (шел 1947 г.), это был издерганный жизнью, официальной ложью и пропагандой человек, злой, желчный и циничный. Я его никогда не любил. Каким я его помню с детства, таким он и умер на девяносто втором году жизни, только еще более разочарованным и обозленным. Зато я очень любил свою мать. Она выросла в многодетной семье. У деда Егора и бабки Анфисы было 11 детей, из которых выжили 9 —

семь девочек и два мальчика. Практически всех своих теток (а жили они в Харькове, Львове, Москве и Владивостоке) я хорошо помню. Особенно я любил дядю Колю, прошедшего Финскую и Великую Отечественную войны. Все уже умерли, но я не забуду их никогда. Это были хорошие и добрые русские люди. Среди них не было ни академиков, ни писателей, но не было среди них ни проходимцев, ни воров. Все прожили свою жизнь трудно, зато честно. Но про них я рассказывал только сыну и жене. Другим это было бы совсем не интересно, поскольку я убежден — история жизни моих родных точно такая, как и история любого советского человека, прошедшего свой жизненный путь между 20-ми и 90-ми годами прошлого века, то есть это история моей страны и моего народа.

В 1957 г. я окончил среднюю общеобразовательную спецшколу с усиленным преподаванием французского языка. Тогда таких школ в Москве было только две: в Банном переулке — французская им. Ромена Роллана и в Сокольниках — английская. На московском Всемирном фестивале молодежи и студентов все выпуски этих школ работали переводчиками: ведь в Москву приехало около 30 тысяч иностранцев со всего мира; это был первый прорыв «железного занавеса» за все послевоенные годы, а переводчиков практически не было. Мне повезло: я увидел впервые в жизни людей из-за кордона, «оттудова»; хотя все они были коммунистами и членами молодежных коммунистических организаций, но все-таки они были из другого мира.

В том же году поступил на факультет востоковедения и изучал амхарский язык. В 1963 г. окончил МГИМО, то есть получил диплом, хотя формально посещать институт перестал в 1960 г., поскольку еще студентом был направлен на работу в посольство СССР в Эфиопии. Единственная страна, где говорят на амхарском, — это Эфиопия. Население Эфиопии — 25 млн человек (это 5 Армений, или 7 Норвегий, или половина Франции). Страна высокогорная, климат тяжелый, я заболел там острой формой гипертонической болезни — дальнейшие командировки в страны с тропическим климатом были мне заказаны, но поскольку я прилично знал еще и французский язык, то в дальнейшем мне пришлось трижды побывать во Франции. Проработав в МИДе ровно 40 лет, я 2 года из них провел в Эфиопии, 12 лет во Франции и 5 лет в Италии. В промежутках между командировками работал в различных подразделениях центрального аппарата МИД, в том числе 10 лет в Управлении кадров. По долгу службы приходилось общаться с огромным количеством людей в Москве, Париже и Риме. Вот об этих-то людях я и хочу рассказать тем, кому это будет интересно.

В общей сложности я проработал в посольствах СССР (а затем РФ) почти два десятилетия. По профессии я карьерный дипломат. При советской власти слова «карьера», «карьерист» имели явно отрицательный оттенок. На Западе же это вполне нормальные термины. Имеется в виду, что человек с детства готовил себя к определенной карьере. В дипломатии, в соответствии со сложившейся практикой, работают люди, которые либо готовили себя к этой работе (в общем-то очень непростой, требующей полной самоотдачи, много знаний и физических сил — ведь рабочий день дипломата не нормиро-

ван), либо пришедшие на дипломатическую стезю из политики. Так было и в СССР, так было и на Западе. Многие известные советские дипломаты пришли на дипработу с работы партийной или советской. Например, дипломаты так называемой «ленинской школы» Г. В. Чичерин, Л. Б. Красин, Л. М. Карахан, М. М. Литвинов были «выдвиженцами» — профессиональными революционерами. В первые послевоенные годы в дипломатию пришли выпускники Дипакадемии (в прошлом тоже партийные работники) А. А. Громыко, А. Ф. Добрынин, В. В. Кузнецов, И. Н. Земсков и многие другие. Что касается меня, то на партийной работе я никогда не был (да и в КПСС вступил относительно поздно — в 29 лет), но я закончил языковую спецшколу, Московский государственный институт международных отношений, а затем и Дипакадемию.

В каждом посольстве имеется несколько подразделений: это группа внешней политики, группа внутренней политики, консульский отдел, группа науки и техники, группа культуры. Так случилось (и я об этом нисколько никогда не жалел), что в первый приезд во Францию я попал в группу культуры. Многие мои молодые коллеги свысока смотрели на эту работу (все предпочитали внешнеполитическое и внутриполитическое подразделения — там можно было быстрее продвинуться по служебной лестнице). А поскольку культурная политика в те годы была придатком большой политики, то и отношение к этой работе было соответствующее. Сразу же оговорюсь, не у всех — были руководители высокого ранга, которые прекрасно понимали огромную важность культурных обменов со странами Запада. В 70-е годы почти 75 % культурных связей СССР приходилось на страны Европы (в первую очередь Францию и Италию); бывшие страны социалистического лагеря — особая статья, а остальное — на США и страны «третьего» мира.

Опыт международных связей показывает, что очень часто одним из первых соглашений, которое подписывается после установления дипломатических отношений между странами, является соглашение о культурных обменах и сотрудничестве. И наоборот, даже при резком ухудшении политических отношений между двумя странами, когда они буквально «дышат на ладан», подписанное ранее соглашение о культурных обменах, как правило, продолжает выполняться обеими сторонами, играя роль последней связующей нити между ними. Не следует забывать, что в те годы шла жесткая «холодная война» между СССР и Западом, и сфера культурного сотрудничества сразу же стала ареной острейшей идеологической борьбы, что подтверждается длительной процедурой переговоров по вопросам так называемой «третьей корзины» (вопросы культурных и гуманитарных связей), которая предшествовала подписанию Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, заключенному в Хельсинки 1 августа 1975 г. Но это не тема моих записок, хотя придется все время делать ссылки на ту международную обстановку, при которой мне доводилось встречаться с людьми, о которых написаны эти воспоминания.

Работая в отделах культуры наших посольств во Франции и Италии, сначала в качестве начинающего дипломата, а позднее в качестве руководителя в ранге советника, по долгу службы встречался практически с «цветом», как

сейчас сказали бы, с «элитой» советской, французской и итальянской культур. Это были Анна Ахматова, Александр Твардовский, Константин Симонов, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Марк Шагал, Луи Арагон, Ренато Гуттузо, Илья Глазунов, Галина Уланова, Майя Плисецкая, Мстислав Ростропович, Марчелло Мастрояни, Альберто Моравиа, Шарль Азнавур, Жильбер Беко и многие, многие другие. Довелось видеть президентов Франции Шарля де Голля, Франсуа Миттерана, Валери Жискар д'Эстена, президента Италии Сандро Пертини, а также Леонида Брежнева, Екатерину Фурцеву, Андрея Громыко. Одно дело, когда видишь этих людей в кинохронике или на экране телевизора, совсем другое — когда наблюдаешь вживую, в гуще событий. Попытаюсь рассказать.

Как это начиналось…

Летом 1963 г. я впервые приехал в Париж. Мне было 23 года. За плечами два года работы в Эфиопии — большой жизненный опыт для парня в этом возрасте: научился прилично говорить по-амхарски, повидал экзотическую страну, во главе которой стоял император Хайле Селассие (полный титул — Царь царей Лев Завоеватель из колена Иудова, Мощь Троицы, Хайле Селласие I). Поскольку было пропущено два года учебы в МГИМО, экстерном пришлось сдавать экзамены за 5-й и 6-й курсы, срочно писать диплом и пройти через госэкзамены. Многие из моих сокурсников брали академические отпуска и сидели в институте вместо шести положенных лет по семь и даже по восемь, а некоторые просто сходили с дистанции. Мне повезло, сил хватило, с дипломом, в котором в графе «специальность» стоит «референт по странам Востока со знанием амхарского языка», я был направлен на работу в посольство СССР во Франции на должность дежурного референта в группу культуры.

Советником по культуре, то есть моим непосредственным начальником, был Валентин Петрович Вдовин, которого я всегда вспоминаю с огромной благодарностью как своего первого в жизни наставника, у которого я очень многому научился, в частности собранности и ответственности за порученное дело. При наличии большого количества заданий, пусть даже и мелких, но невыполнение которых грозило крупными неприятностями, это было очень важно. Тогда Валентин Петрович, как я теперь понимаю, тоже был совсем молодым человеком, ему было чуть за тридцать, но это был уже зрелый муж. Вскоре из Парижа он был назначен послом в Республику Чад в возрасте 36 лет (впоследствии он был послом в Кампучии и в Португалии). Во времена геронтократов — очень молодой посол. Африке в те времена ЦК КПСС придавал большое значение как континенту, который должен был, по их мнению, развиваться по социалистическому пути, поэтому назначение Вдовина в Чад считалось весьма важным.

В первый день Париж мне не понравился. Шел мелкий, нудный дождик. Было сыро, серо и ветрено. Сказывались и усталость после бурного спурта при окончании института, и предвыездная горячка, да еще двое суток в купе

поезда. Человек я энергичный, сидеть двое суток в замкнутом пространстве было сущей пыткой, да еще обе ночи каждые полчаса на границах будили то пограничники, то таможенники. Короче говоря, восторга от встречи с «праздником, который всегда с тобой» не было. Все это пришло потом, а пока была рутина: телефонные звонки, написание служебных бумаг, справок, встреча многочисленных посетителей, не всегда доброжелательных, — в общем, сплошные нервы. Где-то через полгода ко всему привык.

Проучившись в институте шесть лет, я впервые задумался о том, чему нас учили и как. К сожалению, хотя вуз назывался Институт международных отношений, нас не учили главному — искусству этих самых отношений с людьми. Я ни в коей мере не хочу упрекнуть своих преподавателей (низкий поклон им всем), но понимаю теперь, что главный упрек — системе. Да, выпускники МГИМО того времени имели какое-то представление обо всем понемногу: географии, истории, экономике, госправе, международном коммунистическом движении, а главное — имели ясное представление о том, что считалось главным, а именно — о позиции КПСС по тому или иному вопросу международной политики. И выполнять эти позиции все должны были неукоснительно и беспрекословно. Что тогда и делалось. Это много позже появились диссиденты, и именно в сфере культуры. Моей задачей была пропаганда многонационального советского искусства за рубежом и ознакомление советской общественности с лучшими образцами классического и современного западного искусства. С классическим западным искусством вроде бы было все ясно: есть такие великие образцы. А вот с современным все было намного сложнее.

Волей-неволей мне все время приходится говорить не столько о людях, сколько о временах. Идет начало 60-х годов. Культура в СССР переживает острый интеллектуальный и художественный кризис. «Оттепель» в культуре была кратковременной. В литературе имя Достоевского произносится скороговоркой, в школьных программах о нем вспоминают вскользь. Есенин — все еще «кабацкий поэт» и фактически под запретом; имена Хлебникова, Гумилева, Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой, Булгакова произносятся вполголоса, да и то теми, кто о них слышал. Но уже поговаривают о Хемингуэе, Ремарке. В музыке — Дунаевский, Соловьев-Седой, Лебедев-Кумач, Блантер. И шепотком — о Шостаковиче, Прокофьеве, Денисове, Шнитке. В живописи — малозапомнившаяся выставка искусства социалистических стран 1957 г. в Манеже и очень хорошо запомнившаяся выставка 1962 г. в том же Манеже, посвященная 30-летию МОСХа. А запомнилась она по яркому выступлению Н. С. Хрущева, где была дана «высокая» оценка творчеству Э. Неизвестного, а чуть позже А. Вознесенского и Е. Евтушенко. Еще была памятная американская выставка 1959 г. в Сокольниках. Памятна она в основном по «кузькиной матери». Короче говоря, никаких «измов» вроде «формализм», «абстракционизм» — нельзя. Даже «импрессионизм» можно только чуть-чуть и только тем, кому очень хочется и кто отстоял 4–5 часов в очереди в Музей им. А. С. Пушкина, где проходила выставка.

В Париже этих импрессионистов целый музей, а уж абстракционисты в каждой галерее в витринах: смотри — не хочу. В общем, попал я из

Москвы и Аддис-Абебы сразу в буржуазное пекло. И зарплату мне платили за то, чтобы я твердо отстаивал линию партии в искусстве. И отстаивал, и не искривлял, а если немножко и искривлялся, то вместе с самой линией. Потому что общаться стал не только с преподавателями МГИМО и своими такими же убежденными коллегами-коммунистами (убежденными без всяких кавычек); уже была возможность поговорить и с А. Т. Твардовским, и с К. М. Симоновым, и с М. И. Царевым, и с А. А. Ахматовой — «патриархами» советской культуры, и с молодыми — А. Вознесенским, Б. Ахмадулиной, Е. Евтушенко. Вот они-то по-тихому, без нажима, плавно и деликатно дали толчок, или, как говорят в МИД, «импульс» моему «новому мышлению», хотя до «нового мышления» еще предстояло прожить четверть века.

Конечно, все эти советские знаменитости, приезжавшие в Париж, обязательно встречались с послом. В то время это был легендарный Сергей Александрович Виноградов, личный друг генерала де Голля (это Виноградов информировал ЦК КПСС, что время де Голля еще не прошло и что он будет президентом Франции, и не ошибся). И, естественно, с руководителем культурной группы — сначала с В. П. Вдовиным, а потом со сменившим его в 1964 г. Аркадием Николаевичем Казанским (о нем я тоже обязательно расскажу). Что касается меня, то я, 23-летний парень, должен был встречать наших культурных деятелей на аэродроме, размещать их в гостиницах, а если они не знали языка, то обеспечивать их переводом. И, в общем, большую часть времени с ними проводил не посол и не советник, а я. Конечно же, время было и для разговоров на отвлеченные темы: они меня спрашивали, чем живет в настоящее время столица Франции, меня интересовало, что происходит в московских театрах, журналах, выставочных залах. Не могу сказать, что все они были словоохотливы и мне симпатичны, но подавляющее большинство были крайне доброжелательны и приветливы. Еще бы — я для них был как дядька Савельич для Петруши Гринева: и чайку заварить, и шубу постелить.

Теперь пора перейти к рассказу о встречах с этими замечательными людьми, с моими современниками, которые оставили такой яркий след в культуре XX века, увековечили свои имена на страницах написанных ими книг и созданных ими полотен, которые остались в памяти миллионов любителей литературы, живописи, театра, балета, кинематографа. О каждом из них написаны десятки, а то и сотни книг, статей, воспоминаний. Я же хочу рассказать о том, какими их увидел я сам. Ведь встречаясь с послом, высокопоставленными чиновниками Министерства культуры, руководством творческих союзов, людьми, равными им по известности и весу в обществе, все эти яркие, самобытные люди (а творческая интеллигенция — ой, как непроста!) были вынуждены удерживать себя в определенных рамках, действовать сообразно требованию момента, а разговаривая со мной, молодым человеком, восторженно внимающим каждому их слову, они, как мне казалось тогда (да и сейчас тоже), были более естественны и искренни. То есть могли себе позволить роскошь быть самими собой, если, конечно, «маска знаменитости» не прилипала к их лицам намертво.

Буду стараться, по возможности, сохранять хронологическую последовательность в повествовании, хотя некоторых из моих героев доводилось видеть много раз в разные годы то в Москве, то в Париже, то в Риме. По профессиональной привычке расставлять все свои бумаги по полочкам, то есть классифицировать, иначе в них запутаешься, я и сейчас постараюсь вести рассказ, сгруппировав деятелей культуры по сферам их творчества. Ведь говорил же один генерал деятелям культуры: «Если вас так много и все вы такие умные, то отчего же не ходите строем?» Вот я их и выстрою по «родам войск»: писатели, музыканты, художники, скульпторы, актеры и т. д.

Глава I. Каллиопа. Надписи на книгах

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.

А. С. Пушкин (XIX век)

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к ЦК,
А небом избранный певец
Молчит по воле м...ка.

Неизвестный пародист (XX век)

Анна Андреевна Ахматова

Почему именно с нее я начал свое повествование? Да, наверное, потому, что и имя, и отчество, и фамилия начинаются с первой буквы алфавита. Шутка! Потому что она является самой крупной фигурой в литературе XX века из тех, кого мне довелось видеть. По рангу, как тот генерал.

Где-то году в 65-м Анна Андреевна получала в Лондоне премию «Honoris Causa» за свою литературную деятельность. А возвращаться в Москву она должна была через Париж. Это был, конечно же, прорыв — ведь все знают отношение официоза к этой великой русской поэтессе (хотя она сама предпочитала слово «Поэт»). Она долгие годы была невыездная, то есть за границу — ни-ни. Через некоторое время А. Т. Твардовский сказал мне: «Запомните, Валерий Иванович, в русской поэзии XX века есть только три женских имени — это Ахматова, Цветаева и Ахмадулина». Запомнил. А тогда я поехал встречать Анну Андреевну на Северный вокзал. В утренние часы в Париже, как теперь в Москве, на улицах чудовищные пробки, я опоздал к приходу поезда минут на пятнадцать. Бегу по перрону, высунув язык, ищу ее глазами и вижу следующую картину: около двух-трех чемоданов стоит Анна Андреевна (не узнать эту величавую фигуру было невозможно);

рядом с нею, испуганно озираясь, — молоденькая девушка, как потом выяснилось, Аня Каминская, кажется, ее дальняя родственница, которой было поручено сопровождать уже пожилую Ахматову в поездке; и с ними, оживленно жестикулируя, о чем-то беседует очень толстый господин. У женщин вид довольно испуганный. Господин говорит на чистейшем русском языке. Они его явно боятся — наверняка эмигрант, наверняка из антисоветского Народно-Трудового Союза (НТС)... Это оказался Леон Зитрон, выходец из Одессы, известнейший французский телекомментатор, которого я знал, поскольку он регулярно бывал на приемах в нашем посольстве и, по большому счету, был другом Советского Союза. Он случайно оказался на вокзале и предлагал Анне Андреевне отвезти ее в посольство. А она, конечно же, тщательно проинструктированная в Москве о нежелательности контактов с эмигрантами, его очень испугалась. Я разрядил ситуацию и повез Анну Андреевну и ее спутницу в гостиницу. За день до приезда Ахматовой в Париж мне позвонил незнакомец и на старомодном русском языке сообщил следующее: «Меня зовут Иван Сергеевич Маковский. Я сын Сергея Маковского, издателя дореволюционного журнала „Аполлон“, и являюсь управляющим серией крупных парижских отелей. Мы узнали, что из Лондона в Париж прибывает Анна Андреевна Ахматова, и хотели бы, чтобы она остановилась в отеле „Наполеон“».

Я, зная, что это шикарный пятизвездочный отель рядом с Триумфальной аркой, с ужасом подумал, что суточных денег на оплату номера, естественно, не хватит, и сообщил об этом Маковскому с большевистской прямотой. «Помилуйте, — сказал он. — Ведь Анна Андреевна дружила с моим отцом. Конечно же, в ее распоряжении будет не комната, а целые апартаменты, и, конечно же, бесплатно — она наша гостья». «Мы подумаем», — быстро сообразил я и побежал докладывать послу. Он разрешил.

Вот в этот отель «Наполеон» я и повез Ахматову. Была она немногословной, как будто погруженной в свои мысли. А вспомнить ей было что, ведь теперь уже известно, что именно в Париже в 1911 г. она пережила бурный незабываемый роман с итальянским художником А. Модильяни. Книга Б. Носика «Анна и Амадео. История тайной любви Ахматовой и Модильяни» вышла в 1997 г. Тогда ничего этого я не знал. Запомнилась она мне сидящей у окна парижского отеля в длинном, до пят, черном платье-балахоне, уже по-старчески полная и оплывшая, но по-прежнему величественная и как-то отстраненная от суеты парижских улиц. На прощание она спросила, нет ли у меня ее стихов. Конечно, в Москве у меня были сборники ее стихов, которые я покупал у букинистов (ведь ее в то время почти не издавали). Но в тот момент не случилось. «Жаль! — сказала она. — Вам я с удовольствием подписала бы. А у меня тоже ничего нет, все раздала в Лондоне».

Впоследствии многие дарили мне свои книги с добрыми пожеланиями, а вот книги с автографом А. А. Ахматовой у меня нет.

Очень интересные воспоминания об этом пребывании Ахматовой в Париже оставил художник Юрий Анненков в книге «Дневник моих встреч. Цикл трагедий». Сам Анненков закончил свою жизнь трагически: в середине 70-х годов он повесился в собственной мастерской.

Александр Трифонович Твардовский

Не помню уже, по какому поводу в Париж приехали два в чем-то очень похожих и одновременно таких разных советских поэта, — Александр Твардовский и Алексей Сурков. Не одно поколение пело песню «Землянка» на слова Суркова и не одно поколение зачитывалось «Василием Тёркиным» Твардовского. Первое письмо в Россию из эмиграции написал великий Иван Бунин именно Твардовскому по прочтении «Книги про бойца». «Наконец-то в Советской России появился большой поэт», — писал русский классик своему собрату по литературному цеху. И Твардовский, и Сурков были известными общественными деятелями: один — главным редактором журнала «Новый мир» (мощный ручей в хрущевскую «оттепель»), а другой возглавлял Союз писателей СССР. Как-то они оказались в моем кабинете и как бы между прочим спросили: «А нельзя ли побывать на могиле Бунина?» Конечно, просьба была лукавой. Это сейчас все знают русское кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа. Недавно видел толстенную и очень интересную книгу «Погост XX века». Книга об этом кладбище, со схемой расположения могил и с огромным количеством справочных статей о великих и менее великих русских людях, покоящихся там. С большим количеством прижизненных портретов этих людей. А за несколько лет до этого в одной из бесед с президентом Франции Ж. Шираком вопрос о русском кладбище в Париже затронул Б. Н. Ельцин. Правда, вместо того чтобы поблагодарить французского президента за образцовое содержание кладбища, Борис Николаевич выразил обеспокоенность состоянием этой исторической святыни, чем вызвал искреннее удивление президента Франции. Ну да ладно! У Бориса Николаевича бывали казусы и покруче. Ведь принимал же, как утверждали злые языки, Леонид Ильич Брежнев французского посла за... английского! — и проходило.

В то время поездка в логово белоэмиграции и антисоветчины могла обернуться для меня организационными выводами, а точнее, досрочной высылкой в СССР за нарушение правил поведения советских людей за границей. Я так прямо и сказал об этом Твардовскому и Суркову.

«Валерий Иванович, вы не бойтесь, — сказали они. — Мы скажем, что поехали в город по магазинам, а сами съездим на кладбище, поклонимся праху великого русского писателя. Нам это очень нужно. В крайнем случае, если кто и „стукнет“, мы вас в обиду не дадим. Ведь мы оба вхожи в ЦК. Проблем у вас не будет». Как я мог им отказать? Приехали в Сен-Женевьев-де-Буа. Нашли могилу И. А. Бунина. Он лежит вместе со своей женой Верой Николаевной Буниной (Муромцевой), которой, справедливости ради надо сказать, в последние годы ее жизни советское правительство платило небольшую пенсию через бухгалтерию советского консульства в Париже. Большую роль в этом сыграл К. М. Симонов, который сразу же после войны по личному указанию Сталина предпринимал активные попытки склонить Бунина к возвращению в СССР. Не удалось. Видимо, мудрый и желчный старец прекрасно понимал политическую подоплеку этих ухаживаний: увеличить привлекательность жизни в СССР для творческой интеллигенции,

эмигрировавшей после революции. Бунин, вероятно, учел опыт возвращения А. Н. Толстого и А. М. Горького. Во всяком случае, не вернулся.

Мне было очень любопытно наблюдать за поведением этих двух людей на кладбище. Сурков произвел впечатление ученого-историка, оказавшегося среди могил людей, которых он как будто бы знал лично (хотя лично он знать их не мог, поскольку даже если по возрасту они и были погодками, то все равно находились по разные стороны баррикад). Сурков ходил между могилами белогвардейских офицеров, как между учебными пособиями по истории Гражданской войны, сыпал датами, фактами из их военных биографий и, конечно же, поразил меня глубоким знанием истории Гражданской войны. Я ведь был тогда очень молод, и то, что для него было реалиями его жизни, для меня звучало как лекция по отечественной истории.

Твардовский вел себя совсем иначе. Он молча ходил между могил. Иногда останавливался, беззвучно шевелил губами. А у могилы Бунина сказал, обращаясь ко мне: «Смотрите, вон сквозь камень проросла былинка. Интересно, на будущий год тоже взойдет?» И я понял: передо мной стоит Поэт. Да, он прошел через войну, а перед этим была коллективизация, когда ему пришлось наступить себе на горло и отказаться от родных, которых раскулачили. Но он за все это заплатил истерзанным сердцем и отстрадал за все сполна. Поэтому-то и пил он запойно. Поэтому-то и старался он доступными ему средствами хоть как-то выкрикнуть правду. Он первый предоставил страницы «Нового мира» для рассказов Солженицына. Правда, Александр Исаевич «отблагодарил» его в книге «Бодался теленок с дубом». Но это уже другая история. У каждого своя правда, не знаю, как повел бы себя Солженицын, поменяйся он местами с Твардовским. Подошел Сурков: «Прошелся сейчас вдоль могил белогвардейцев-„дроздовцев“. Ведь они тоже, наверное, любили Россию. Только у каждого была своя Россия». Я понял, что оба думали об одном и том же — о России, но у каждого Россия была своя...

Дня через два Сурков улетел в Москву, а у Твардовского начался затяжной запой. Он попросился на прием к послу. Валериан Александрович Зорин, сменивший к тому времени С. А. Виноградова, был его прямой противоположностью и по внешности, и по темпераменту. Сергея Александровича французы любили и фамильярно называли «Мсьё Вино». На одном из конкурсов-опросов его нарекли самым красивым мужчиной Франции и, обыгрывая его внешность, заостряли внимание на его «бурбонском носе». Более того, он слыл «лучшим ружьем Парижа», поскольку на охотах в лесу Рамбуйе, которые президент де Голль устраивал для дипкорпуса, настреливал фазанов гораздо больше, чем другие приглашенные. В общем, это был настоящий «бонвиван», жизнелюб. Зорин же был сух, неулыбчив, корректен. В отличие от Виноградова, который не стеснялся в употреблении ненормативной лексики, никогда не повышал голоса, и уж если он кому-то сказал «ну что ж это вы, голубчик?», то это значило, что пора собирать чемоданы и уезжать в Москву. Со мною Валериан Александрович был строг, считал, видимо, развязным, дерзким молодым человеком, но мне кажется, что все-таки относился он ко мне по-доброму, чему впоследствии у меня появились

веские доказательства. Вот к этому человеку и пришел Твардовский. Я вошел в кабинет посла вместе с ним. Твардовский с места в карьер ошарашил посла фразой: «Валериан Александрович, я, кажется, заболел, пожалуйста, не выпускайте меня из посольства». Зорин даже не понял, о чем идет речь. Ему и в голову не могло прийти, что человек такого уровня, да еще во время служебной загранкомандировки так запросто и до такой степени мог злоупотреблять, как тогда говорили, спиртными напитками. Когда же до него дошла суть просьбы, он успокоил Александра Трифоновича, сказал, что сегодня же его вещи перевезут из гостиницы в посольство, где ему предоставят отдельную комнату со всеми удобствами и обеспечат всем необходимым (имелось в виду достаточное количество выпивки и закуски). Рейсы «Аэрофлота» по маршруту Москва–Париж–Москва в те годы не были ежедневными, и Твардовскому предстояло в ожидании очередного рейса на Москву провести в посольстве на улице Гренель три дня. После разговора Зорин задержал меня в кабинете и попросил не оставлять Твардовского все эти дни, чтобы оказать ему необходимую помощь. Конечно, этому по большому счету тяжело больному человеку вряд ли было интересно мое общество, но я все-таки был живой душой рядом с ним в эти тягостные дни. Во всяком случае, когда я провожал его на аэродром Ле Бурже, он достал из кармана крохотную книжечку «Тёркин на том свете», напечатанную издательством «Советский писатель» в 1963 г. (Впервые поэма была опубликована в газете «Известия» зятем Хрущева А. Аджубеем, а потом ее просто замалчивали.) На титульном листе было написано: «*Валерию Ивановичу автор желает всего самого доброго на этом свете. А. Твардовский, 24 ноября 65 г., Париж*». У меня есть более поздние издания Твардовского в прекрасных переплетах, куда включена и эта его поэма. Но та тонюсенькая книжица стоимостью в 11 копеек мне особенно дорога.

Константин Михайлович Симонов

Так получилось, что моя первая командировка во Францию была особенно богата встречами с советскими писателями старшего поколения. Было это между 1963 и 1966 гг. За это время мне довелось встречаться с И. Эренбургом, Г. Марковым, В. Собко, который приезжал вместе с Алексеем Маресьевым, Ч. Айтматовым. В эти же годы я познакомился с А. Вознесенским и Б. Ахмадулиной. Сейчас же хочу рассказать о Константине Михайловиче Симонове.

Приехал он в Париж с женой Ларисой Жадовой. Было лето 1969 г. Конечно, память вряд ли удержала бы точные даты этих встреч. Еще в Эфиопии я вел дневник. Сохранил я эту привычку и во Франции. Но это не были дневники в том смысле, как они понимались в XIX веке. Например, вряд ли талантливейшая, но рано ушедшая из жизни русская художница Мария Башкирцева думала, что ее дневники будут опубликованы и выдержат не одно издание во Франции, а позднее и в России. Но то была, по сути, прекрасная русская литература. Я же делал просто коротенькие записи, которые должны были, как мне казалось, помочь восстановить хронологическую после-

довательность событий при написании годовых отчетов, что в посольствах делалось очень скрупулезно и раньше, и сейчас. Ведь по ним оценивается эффективность работы всей группы. Но все эти записки, конечно же, пропали, а восстанавливаю я хронологию по дарственным надписям на подаренных мне книгах. Вот сборник стихов, изданный в 1962 г.: «Константин Симонов. Стихи, поэмы, вольные переводы 1936–1961». Подарил ее мне сам Константин Михайлович. Без всякой надписи на титульном листе. А попросить его надписать я почему-то постеснялся, наверное, потому, что он уже надписал мне роман «Солдатами не рождаются». Каково же было мое удивление, когда, читая этот сборник много лет спустя, я обнаружил в середине книги, на 190 странице, перед поэмой «Первая любовь», которая начинается словами:

В пятнадцать лет — какие огорченья?
Мальчишеские беды нам не в счет;
Сбежал из дому — попроси прощенья,
Расстался с ней — до свадьбы заживет,

надпись: *«Валерию — с добрым чувством. Константин Симонов, 14 августа 1964 г.»*.

Трудно сказать, почему именно там сделал Константин Михайлович эту надпись: то ли потому, что я расстался с женой (но откуда он мог знать — я ему об этом не говорил), то ли просто потому, что я был очень молод в его глазах («в пятнадцать лет — какие огорченья?»), то ли это был, как сейчас сказали бы, «прикол». У Симонова во Франции было много друзей, поскольку он бывал там неоднократно в послевоенные годы. Поэтому в посольстве его видели нечасто.

Мне он запомнился очень живым, подтянутым, с неизменной курительной трубкой в руках. Раза два мы ездили с ними в «Магазин русской книги», который содержал очень известный в Париже книжник Михаил Семенович Каплан. Здесь можно было найти редчайшие издания, которых, по словам Симонова, не было даже в Ленинской библиотеке в Москве. Недалеко от магазина Каплана на rue de Бюси был большой магазин советской книги «Гдоб». Но в нем главным образом продавались книги советских издательств. У Каплана же можно было найти книги, изданные в России во время Гражданской войны крохотными тиражами в 200–300 экземпляров. С Михаилом Семеновичем я дружил и всегда приводил к нему всех приезжавших из СССР, кого интересовали книги. Как правило, без покупки они не уходили. Когда в 1993 г., то есть тридцать лет спустя, я в очередной раз оказался в Париже уже в качестве советника по культуре теперь уже не советского, а российского посольства, то в первый же выходной день побежал на rue de л'Эпрон. Бывают же такие совпадения: около входа стоял грузовик, в который грузили стулья и книжные стеллажи. Магазин прекратил свое существование.

И я вспомнил, как, выходя из этого магазина, Константин Михайлович сказал: «Валерий Иванович, вы сейчас живете в Париже, у вас есть возможность читать то, что в Москве вы не найдете: Шмелёва, Зайцева, Ремизова,

Алданова. Пользуйтесь этой возможностью». Этот совет я вспоминаю с благодарностью. С творчеством русских писателей-эмигрантов я познакомился в 1960-е гг., когда до перестройки была еще четверть века. Сейчас этих писателей у нас издали, но, видимо, никто их не читает. Сужу хотя бы по тому, что купил книги Ремизова и Шмелёва на московских развалах по бросовым ценам как не пользующиеся спросом. А на память о М. С. Каплане у меня осталась прекрасно изданная в 1949 г. в Париже книга А. Ремизова о балетном искусстве «Пляшущий демон» с теплой дарственной надписью.

Чету Симоновых вспоминаю, когда беру в руки книгу Константина Михайловича и Ларисы Алексеевны Жадовой «Монументальная живопись Мексики» о творчестве великих мексиканцев Ороско, Ривера и Сикейроса. Думал ли я, что в 1972 г. буду разговаривать с самим Давидом Альваро Сикейросом, который известен не только как художник, но и как организатор покушения на Л. Троцкого? Сикейрос часто ездил в СССР и обратился в посольство с просьбой оказать ему содействие в получении визы в Москву. Конечно же, такое содействие было оказано.

Недавно видел по телевидению выступление Алексея Симонова — он возглавляет какую-то общественную организацию. Сын очень похож на отца.

Ираклий Луарсабович Андроников

Зимой 1964 г. в Париж приехал Ираклий Андроников. Незадолго до этого в издательстве «Художественная литература» вышла его нашумевшая книга «Лермонтов. Исследования и находки». Популярности Андроникова в еще большей степени способствовали его частые выступления по телевидению с устными рассказами об актерах, писателях, художниках. В те годы такое прямое общение с аудиторией было в новинку. Рассказчиком Ираклий Луарсабович был неподражаемым. Его приезд во Францию имел вполне определенную цель — провести с французским балетмейстером Сергеем Михайловичем Лифарём переговоры о приобретении писем Пушкина к его невесте Н. Н. Гончаровой. У Лифаря были такие сокровища, и Министерство культуры, которое тогда возглавляла Е. А. Фурцева, было заинтересовано в возвращении этих реликвий на родину поэта. О происхождении ценнейших архивов Лифаря я расскажу отдельно, когда буду писать о нем самом. Наши пути пересекались довольно часто, а сам Лифарь — уникальная личность в истории мирового балета.

В кабинет, где размещалась группа культуры, вошел кругленький подвижный человек с большим носом «сливой». «Кто здесь Валерий Иванович?» Я представился. «Ну, вот и замечательно, завтра вечером идем к Сержу Лифарю. Посол сказал мне, что вы будете меня сопровождать». В назначенный час мы были в доме на пляс Мехико, недалеко от Эйфелевой башни и улицы Виктора Гюго (очень престижный район Парижа), в квартире Сергея Михайловича Лифаря. Хозяин с подчеркнутым шумным радушием встречал нас (я уже был с ним знаком), а о встрече договаривался сам посол Виноградов, который с Лифарём был очень дружен и, понимая

важность предстоящего разговора, лично просил Лифаря, чтобы он принял Андроникова. Хозяйничала жена Лифаря, шведская графиня, которая называла его ласково «Серьёжа».

Кроме нас, в доме была еще одна пара приглашенных, и каких! Князь Феликс Феликсович Юсупов с супругой. Конечно, я обалдел! Живой Юсупов, который убивал Распутина! На дворе стоял 1964 г. Многие, наверное, помнят портрет красавца Юсупова с французским бульдогом на руках кисти В. Серова. Между портретом и оригиналом разница в полвека. Передо мной стоял высокий, сухой, прямой как палка старик с абсолютно лысым черепом, кожа на котором была покрыта круглыми желтыми пигментными пятнами. Судя по повороту головы, он ориентировался не по зрению, а по слуху: вероятно, почти ничего не видел. «Здравствуйте, князь, вы по-русски-то не разучились говорить?» — с щенячьим задором спросил я. Каково же было мое удивление, когда могучим басом старик ответил: «Слава Богу, еще говорю и даже предпочитаю. Здесь уже ни с кем не поговоришь по-русски, вот разве что с Сережей» (имея в виду Лифаря). В левой руке Юсупов держал дорогую массивную трость, а правую протянул мне для рукопожатия. Рука была костлявая, холодная, с длинными пальцами и холеными ногтями. На четырех пальцах (кроме большого) были массивные золотые перстни с крупной бирюзой. В голове мелькнула мысль: «Почему нет рядом Виктора Васнецова — лучшего натурщика для Кощея Бессмертного не придумаешь!»

После ужина Лифарь повел нас по апартаментам показывать свои реликвии. Особенно запомнилось мне карминовое покрывало, расшитое тончайшей парчовой нитью, которым был покрыт гроб Пушкина, когда с поэтом прощались современники; парсуна Петра Первого, для которой якобы царь лично позировал, и первая русская печатная книга «Апостол» Ивана Фёдорова в идеальном состоянии (в Ленинской библиотеке в Москве был экземпляр, но в худшем состоянии).

Ираклий Луарсабович, прекрасный рассказчик, держал на себе внимание весь вечер. Я потихоньку переводил суть его рассказов шведской жене Лифаря, которая не понимала по-русски ни слова. Лифарь был доволен беседой, но ни о чем Андроникову договориться не удалось, и он уехал в Москву с пустыми руками.

Перед Новым, 1965 годом я получил из Москвы по открытой международной почте бандероль и письмо: *«Дорогой Валерий Иванович! Исполняю свое обещание, шлю книжку свою о Лермонтове и пользуюсь Вашим обещанием передать письмо Лифарю и снова попробовать выудить у него фотографию лермонтовского автографа. Побывайте у него! Я верю, что мы еще прорвемся к его коллекции и не напрасны будут наши усилия, которые я скрепляю на этой странице крепким и дружеским пожатием Вашей руки. Ваш Ираклий Андроников, 14 декабря 1964 г., Москва»*.

Забегая немного вперед, скажу, что в 1975 г. коллекция русских книг и рукописей, принадлежавших Лифарю, была продана по частям на аукционе в Монте-Карло. Кое-что удалось спасти для России, но это уже другая история.

А в 1967 г., когда я вернулся в Москву, прогуливались мы с женой недалеко от Дорогомиловской заставы, где тогда какое-то время жили. В колясочке везли полугодовалого сына. Сзади кто-то подошел ко мне и, дружески похлопав по плечу, спросил: «А что это там за хухрик у вас сидит?» Это был Ираклий Луарсабович. Мы обнялись, а я спросил, почему «хухрик». «Да вы идете по Хухрикову переулку!» С тех пор сына все домашние лет до пяти называли «хухриком». Сейчас, когда пишу эти строки, задумался, а что же это такое — «хухрик». Не поленился и заглянул в словарь Даля. «Хухря» (Новгородская губ.) — нечеса, растрепа, замарашка. «Хухрик» (Новгородская губ.) — щеголек. Вот такие дела!

Ираклия Луарсабовича я больше не видел, хотя вспоминал о нем часто. От Ильи Самойловича Зильберштейна (какой был знаток русской книги!) узнал, что у Андроникова трагически погибла взрослая дочь. Я всегда буду помнить этого милого, доброжелательного и очень обаятельного человека.

Константин Дмитриевич Бальмонт

Как-то рано утром я пришел в посольство пораньше, чтобы до начала рабочего дня доделать кое-какие мелочи, оставшиеся с вечера.

«А тебя уже ждут», — сказал у входа дежурный комендант. Посетитель представился (помню даже фамилию — Якимов) и сказал, что он был соседом Константина Бальмонта в эмиграции и хоронил его, поскольку даже близких у поэта никого в то время не было — он был одинок и беден.

«Могила была из глины и полна воды, гроб так и опустили в воду. А сейчас кончился 25-летний срок, и по французским законам, если не оплатить кладбищенский участок, то могилу перекопают и сделают новое захоронение, и не останется даже могилы русского поэта, который в начале века был кумиром читающей России». (Я подумал, что кумиром-то он был в дореволюционной России, а сейчас вряд ли кто его помнит или даже знает — и, как выяснилось чуть позже, не ошибся.) «У меня денег нет, хотя сумма и небольшая, — продолжал Якимов, — так, может быть, посольство оплатит?»

Я сказал посетителю, что займусь этим вопросом. И занялся. По существу дела проблема была чисто консульского характера, и я изложил ее суть консулу, благо он ежедневно из своего офиса приезжал в посольство на улице Гренель.

«А этот Бальмонт — советский гражданин? — спросил консул. — А, эмигрант, да еще белогвардейский, тогда мы этим не занимаемся».

Но я был молодой и настырный. К тому же очень любил стихи Бальмонта, который в те годы был чуть ли не под запретом — позер, декадент, эмигрант (и в то же время один из кумиров «серебряного века» русской поэзии)! Эмигрантской судьбой Бальмонта занимались Луначарский, Горький, Ромэн Роллан, но это было в 20–30-е годы. А к 1942 г. он, уже полубезумный, доживал остаток дней в местечке Нуази-ле-Гран под Парижем и был полностью забыт практически везде — и в Европе, и в России. Шла Вторая мировая война, Париж был под оккупацией, фашисты рвались к Москве. Было не до Златокудрого поэта.

Пойти к послу? Но он, хотя и знал, в отличие от консула, кто такой Бальмонт, вряд ли стал бы хлопотать перед Фурцевой (а написать министру имел право только посол) о могиле белоэмигранта и антисоветчика. И я пошел к советнику В. П. Вдовину. «А я напишу ответственному секретарю Союза писателей СССР А. Суркову (имею право, это мой уровень), — сказал решительно Валентин Петрович. — Готовь письмо, я подпишу». Сказано — сделано. К моему великому удивлению, в Комиссии по иностранным делам Союза писателей было принято решение сохранить могилу поэта, нашлись и валютные средства (это всегда было камнем преткновения), во Францию была командирована тогда еще живая дочь поэта Нина Константиновна Бруни, которая и уладила с местными муниципальными властями вопрос о сохранении могилы отца. Но меня в то время во Франции уже не было — я работал в Москве. А во время следующей командировки во Францию на даче у писательницы Натальи Кодрянской (у нее на руках умирал Алексей Ремизов) меня познакомили с худенькой седой женщиной лет семидесяти со словами: «Нина, вот благодаря Валерию Ивановичу ты уже второй раз приезжаешь к нам. Ведь это он взялся за труд сохранить могилу Бальмонта». А мне пояснили: «Это Нина Константиновна, дочь Бальмонта».

Помните серию книжек в синих переплетах «Библиотека поэта», основанную Горьким в издательстве «Советский писатель»? Ведь в этой серии выходили стихи Б. Пастернака, С. Черного, М. Цветаевой, Н. Заболоцкого. Книги эти купить было нельзя — можно было только «достать»! У меня есть книжка в таком переплете «К. Д. Бальмонт» с репродукцией на титульном листе портрета кисти Валентина Серова и надписью:

Всегда одно // Люби вино,
Всегда одну // Люби жену.
И там и здесь // Вредит нам смесь...

К. Бальмонт (экспромт, произнесенный Бальмонтом в 1896 г. в Москве) *Валерию Матисову от дочери Поэта Н. Бруни. Париж, 23. XI. 72.*

Михаил Федорович Ларионов

В сентябре 1980 г. в Государственной Третьяковской галерее в Москве проходил вернисаж ретроспективной выставки русского художника Михаила Ларионова. Работы были отобраны из музеев СССР, собрания А. К. Ларионовой-Томилиной и частных коллекций Москвы и Ленинграда.

Имя этого ярчайшего представителя русского живописного авангарда в СССР знали разве что специалисты, а на Западе его ставили в один ряд с Пикассо, Дали, Шагалом. Разница только в том, что появился он как художник намного раньше трех вышеупомянутых.

Я был приглашен на выставку, но к самому открытию опоздал. Выставку открывал тогдашний заместитель министра иностранных дел А. Л. Адамишин. Он уже произносил краткую речь. Увидев меня (надо знать Адамишина), он оторвался от заготовленного текста и сказал: «А вот и человек,

который сказал первое „А“.» Все повернулись ко мне. Было неловко, хотя и лестно.

А начиналось все летом 1963 г., когда я еще совсем мальчишкой приехал в Париж на работу. Среди бумаг моего предшественника я обнаружил письмо какого-то русского человека из Москвы, адресованное Ларионову в Париж. В большом конверте был вложен также графический портрет Гоголя, видимо, работа автора письма. «Надо бы переслать Ларионову», — подумал я. А потом замотали дела, и я про письмо забыл.

В посольство пришел какой-то господин, представился русским художником Бенатовым (о нем обязательно расскажу) и сказал: «Вчера скончался великий русский художник Михаил Федорович Ларионов. Вы бы выразили соболезнования вдове (второй жене художника — первой была Наталья Сергеевна Гончарова). Ведь Михаил Федорович очень любил Россию». Тут я вспомнил о письме, которое кто-то довез до посольства и которое так и лежало в бумагах моего предшественника. Бенатов дал мне телефон вдовы Ларионова, Александры Клавдиевны Томилиной, я созвонился с ней, договорился о встрече и на другой день пошел пешком, благо рю Жак-Калло находилась в Латинском квартале, недалеко от рю де Гренель.

Александра Клавдиевна была моему приходу рада — сотрудники посольства, судя по всему, не баловали ее вниманием. В крохотной двухкомнатной квартирке царила нищета. В одной комнате она жила сама: железная кровать, стол, пара стульев, продавленный диванчик и абсолютно никакого домашнего уюта. Груда книг, сваленных прямо на пол, прислоненные к стене картины без рам (на подрамниках), стопки старых газет. На столе — щербатая фаянсовая кружка и кофейник. Пепельница, полная окурков.

«Вот так и живут во Франции русские художники-эмигранты, влача жалкое существование, — подумал я, — вот что значит потерять Родину». Писать в Москву в Министерство культуры о бедственном положении вдовы было бесполезно. Слово «эмигрант» — клеймо, а творческое лицо Ларионова и Гончаровой для чиновников на улице Куйбышева, 10 в Москве — красная тряпка для быка: ладно бы был крепкий реалист вроде «передвижников», а то авангардист поганый, хуже Пикассо. Но Александра Клавдиевна ничего и не просила, кроме одного — сделайте выставку картин Ларионова-Гончаровой в Москве и Ленинграде. В те годы это было просто немыслимо, я бы даже сказал — «антисоветски». Но, помимо чиновников от культуры, в СССР ведь были просто художники и интеллигентные люди, интересовавшиеся живописью. А в 1960 г. уже вышли мемуары И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь...»; и те, кого это интересовало, уже знали о творчестве Ларионова, Гончаровой, Марка Шагала, Хаима Сутина, Осипа Цадкина и многих других эмигрантов из России, которым Монмартр и Монпарнас обязаны своей славой. Цены на картины этих мастеров уже тогда на Западе были баснословны и продолжали расти. А ведь вторая комнатка в квартире на улице Жак Калло была просто набита холстами Ларионова и Гончаровой. А еще у Александры Клавдиевны были собрания их картин в деревне под Парижем и в Швейцарии. Музеи Франции, ФРГ, США и Англии готовы были купить у нее за огромные деньги это наследие. Но преданная Александра

Клавдиевна была непреклонна: все наследие художников принадлежит России. А вот родина принимать это наследство не желала. В период с 1963 по 1966 г. я был единственным сотрудником посольства, который поддерживал с А. К. Томилиной постоянные контакты: то водочки к Новому году пошлю, то икорки, то билеты на концерты советских артистов. Не думал я, конечно, тогда, что придется вернуться в Париж пять лет спустя, что застану Александру Клавдиевну живой и в добром здравии. Что министр культуры Екатерина Алексеевна Фурцева будет дружить с вдовой художника Кандинского Ниной Николаевной, с вдовой художника Сорина Анной Степановной и с художником Николаем Александровичем Бенуа и что послы Абрасимов и Червоненко будут приглашать на рюмку чая Шагала и Терешковича. Высылка Солженицына и «добровольный» отъезд Ростроповича еще предстояли через пять-шесть лет. А пока — «все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!»

Александру Клавдиевну стали регулярно приглашать на приемы в посольство. Посол Червоненко стал исправно посылать ей поздравления или сувениры к Новому году. Ну, а Александра Клавдиевна гнула свою линию — сделайте выставку картин Ларионова в Москве, я предоставлю имеющиеся у меня картины и, может быть, подарю кое-что советским музеям. Нет, до этого было еще очень и очень далеко.

В 1976 г. я вернулся в Москву, при этом имелось в виду, что через год отправлюсь в Париж в качестве советника по культуре. Но судьба распорядилась иначе: было уже решение ЦК о моем назначении, был забронирован железнодорожный билет до Парижа — но, увы, французы не дали визу. Прощай, Париж! Работаю в Москве. И вот получено приглашение в ГТГ на вернисаж, с которого я и начал этот рассказ. Мои коллеги довели-таки дело до логического конца. Прорыв! Художник-авангардист в цитадели критического и социалистического реализма (то есть в Третьяковской галерее). Виктория, гип-гип ура!

Прорвав ретроградную оборону Минкультуры, Александра Клавдиевна пошла дальше. Вот ведь поистине загадочные славянские души, преданные души. Ведь Ларионов мечтал, чтобы все его картины, созданные в эмиграции, вернулись в Россию. Александра Клавдиевна должна была выполнить волю умершего мужа. Тут уже забрезжили перемены в сознании поколений. Пришли новые люди и в Минкультуру, и в ЦК (уже в мире узнали про Горбачева). Новое поколение советских дипломатов в Париже кропотливо продолжало работу по возвращению художественного наследия Ларионова и Гончаровой в Россию. Сотрудники посольства и лично посол регулярно встречались с уже сильно постаревшей Александрой Клавдиевной, посещали ее в госпитале; она написала заверенное нотариусом завещание, по которому все принадлежавшие ей работы Ларионова и Гончаровой передаются в дар России. (Часть этих работ находилась в парижской квартире на улице Жак Калло, а другая часть — в швейцарском депозитарии.)

После смерти Александры Клавдиевны все работы были собраны на территории совпосольства в Париже на бульваре Ланн, и контейнер с холстами

был отправлен дипломатической почтой (то есть не подлежащей французскому таможенному досмотру) в Москву.

Я же тем временем, проработав шесть лет на Смоленской площади, был направлен на работу в посольство в Риме, где оставался на посту советника по культуре с 1983 по 1988 г. О судьбе ларионовского наследия мне ничего не было известно, да и, в общем, уже шла другая жизнь, другие заботы. Каково же было мое удивление, когда, уже вновь работая в Москве, в отделе культурных связей МИДа, я прочитал в газетах о том, что художественное наследие Ларионова и Гончаровой было возвращено на родину. Поскольку даже по приблизительным оценкам стоимость картин превышала сумму в 4,5 миллиона французских франков, вопрос возвращения картин в Россию находился на личном контроле Е. К. Лигачёва, второго человека в «перестроечном» руководстве тогдашнего СССР. Слава Богу, все хорошо, что хорошо кончается. Но до окончания этой теперь уже детективной истории, как оказалось, было еще очень и очень далеко.

Переправив картины Ларионова и Гончаровой в Москву тайно, не известив об этом ни швейцарское, ни французское правительства, мы нарушили нормы международного права. Правда, тогда еще был Советский Союз, нам эти нормы были не указ, у нас было свое право — социалистическое. Таковы были реалии. Но грянула «перестройка». В СССР стали строить гражданское правовое государство. Ведь демократическая Россия — часть, как нам хотелось тогда, объединенной Европы. Но со свиным рылом, как известно, в калашный ряд не пускают. Надо подчиняться нормам международного права. И хотя картины Ларионова и Гончаровой уже давно находились в Москве, выставить их для широкой публики не представлялось возможным: французы тут же узнали бы о том, что художественные ценности в нарушение всех международных правил тайно доставлены в СССР. Хотя они по завещанию и принадлежали советским музеям, мы обязаны были при перемещении картин из страны в страну оплатить огромные таможенные расходы, не говоря уже о выполнении тысячи юридических пограничных и прочих формальностей. А тут еще французские нотариусы, оформлявшие завещание, требуют своей доли. Ситуация патовая.

И вот уж поистине неисповедимы пути Господни. В 1993 г. меня направляют в Париж советником по культуре — вопрос о художественном наследии Ларионова и Гончаровой в очень большой степени касается работы культурной группы. Но время было уже другое: в штате российского посольства имелись юристы-международники, на судебный процесс в Париж были командированы высокопоставленные, с необходимыми полномочиями чиновники Министерства культуры, после долгих судебных разбирательств было найдено «соломоново решение». Французы не стали предавать огласке наши неблаговидные действия по незаконной перевозке картин, а российская сторона передала французским музеям часть картин из полученного нами с таким трудом наследства. Вопрос закрыт навсегда.

Фантом Михаила Федоровича Ларионова, посещавший меня на протяжении более тридцати лет, оставил мою душу в покое.

Серебряковы

Это династия. Как и Лансере. Как Бенуа. Я знал трех Серебряковых — Зинаиду Евгеньевну, прекрасную русскую художницу первой половины XX в., и ее детей: Екатерину Борисовну и Александра Борисовича, тоже художников. Все они жили в Париже на улице Кампань Премьер, дом 31. В Москве жила еще одна дочь Зинаиды Евгеньевны — Татьяна Борисовна — художник-декоратор, но с ней меня судьба не свела.

В 1963 г. известный дирижер с европейским реноме Игорь Маркевич предложил советскому министру культуры Екатерине Фурцевой организовать в Москве выставку картин русского художника Похитонова. Картины он был готов предоставить из своей личной коллекции и из коллекции Зинаиды Серебряковой. Я только что приехал в Париж, мне 23 года, я мало что знаю, но хочу знать все, мне все интересно, я не чураюсь никакой работы, даже грузчиком. Вот и послали меня помочь уже старенькой Зинаиде Евгеньевне погрузить ящики с картинами Похитонова в посольский грузовичок, а потом отвезти на аэродром Ле Бурже и отправить рейсом «Аэрофлота» в Москву. Другой бы заартачился, все-таки дипломат, а не грузчик. А я был рад — увижу живую художницу Серебрякову. Кое-какие ее работы я, будучи еще школьником и студентом, видел в Третьяковке, куда очень любил ходить. Потом, когда я «халтурил» переводчиком в «Интуристе», мне это очень помогло — я настолько неплохо знал картины Третьяковки, что обходился без экскурсовода, сам объяснял туристам, что и где висит и кто такие. Конечно же, начальство меня сначала проверило и лишь потом доверило водить туристов без экскурсовода, экономя, конечно же, на этом деньги.

Дверь открыла худенькая, сухонькая, очень живая старушка в синем рабочем халате, заляпанном краской. Я отметил про себя: наверное, голодает и вынуждена еще работать, чтобы выжить. Да, да, не улыбайтесь — с таким представлением о русских эмигрантах я прибыл в Париж. Так писала советская пресса о них: работали таксистами, домработницами, садовниками. И это была правда. Но не вся. Как позже я узнал, многие деятели культуры продолжали заниматься своим делом, писали книги, картины, пели в опере или просто жили на проценты с капитала, если таковой имелся.

А старушка, приветливо улыбаясь, говорила: «Ой, вы из посольства? А мы нервничаем, вот Катя и Саша, ну вот и слава Богу, сейчас погрузим». Я перетаскал вместе с посольским шофером ящики в машину, сказал, что, когда картины прибудут в Москву, посольство обязательно подтвердит. Прощаясь, старушка мне сказала: «А вы приходите к нам, мы русским всегда рады». Через неделю из Москвы пришла телеграмма с сообщением, что картины Похитонова прибыли и идет подготовка экспозиции. Я позвонил Серебряковым, а они мне говорят: «Мы знали уже в тот же день, нам сообщил Маркевич». Я про себя отметил: посольство шифровало, в Москве расшифровывали, потом таким же образом обратная связь, а тут какой-то эмигрант просто из московской гостиницы взял и позвонил в Париж. (Хотя, думаю, что не просто — ведь шел 1963 г.! Что же тогда делали меценаты в штатском?)

Зинаиду Евгеньевну я больше не видел, но часто вспоминал и думал: неужели эта сморщенная старушонка и есть та самая высокая красавица, расчесывающая каштановые волосы перед зеркалом («За туалетом». Автопортрет. 1909)? Тогда мне, двадцатилетнему, трудно было понять, что человек за полвека так меняется! Ведь Зинаиде Евгеньевне на том автопортрете 1909 г. всего лишь двадцать три! То есть столько же, сколько было мне самому, когда я увидел ее живой.

А с Екатериной Борисовной и Александром Борисовичем я общался довольно часто и во время второй, и третьей своей командировки в Париж. Катя (Зинаида Евгеньевна много писала своих детей — «За завтраком», 1914; «Карточный домик», 1919) и Саша — так я их называю про себя, хотя они были вдвое старше меня, но такова сила искусства — жили до конца жизни вдвоем все в той же квартире на улице Кампань Премьер. Катя не вышла замуж, а Саша не женился. Неразлучными я их и помню. Каждый Новый год они присылали поздравительную открытку (иногда — расписанную от руки). Думаю, что все-таки от бедности, ведь хорошая поздравительная открытка дорого стоит, а им их нужно было отправлять не один десяток. Катя писала акварелью цветы, а Саша интерьеры. И достиг он в этом великих высот. Представьте себе акварель размером 40×60 см, изображающую салон, библиотеку и переднюю залу старинного особняка. Почти фотографическая точность: каждая безделушка на камине, вплоть до названия книг на кожаных корешках, а ведь это акварель, очень трудная техника, тончайшие кисти. Но Саша был, конечно, виртуоз и был оценен местными меценатами. Жили они с Катей на его заработки, а зарабатывал он следующим образом. Богатые французы, как правило, из аристократических семей, владевшие замками во французской провинции, приглашали Сашу вместе с сестрой на 2–3 месяца погостить в замок, обеспечивая их жильем и питанием. Но Саша должен был сделать 10–15 акварелей с интерьерами этих замков. Кое-что ему еще и приплачивали, но немного. Двум старикам этого хватало на жизнь. Я видел работы Александра Борисовича. Описать невозможно, надо видеть! Виртуозная техника, безупречный вкус. Потом эти акварели зарамливались, и владельцы замков вешали их в своих парижских апартаментах, показывая гостям: «А вот гостиная в нашем замке на Луаре, а вот спальня в замке на Уазе» и т. п.

С Серебряковыми я не только перезванивался по телефону, но и активно переписывался. В моем личном архиве сохранилось довольно много писем от русских художников и их вдов, но я хотел бы привести несколько писем именно от Александра Борисовича Серебрякова, поскольку они наиболее типичны и дают представление не только о тематике переписки, но и характеризуют в какой-то мере их авторов. Сохраняю структуру письма и орфографию автора.

Париж, 29 декабря 1974 г.

31 rue Campaque Premiere Paris 75014

Глубокоуважаемый и Дорогой Валерий Иванович! Сердечно благодарим Вас за присылку билетов на спектакль «Cheucurs et Dances de l'Ame Sovietique» и за Ваши поздравления к Новому Году!

Сестра и я шлем Вам и Вашей милой супруге наши наилучшие пожелания к наступающему Новому 1975 году! Только что были на представлении в «Palais des Sports» и видели этот прекрасно исполненный спектакль! Поют и танцуют так живо и хорошо, и имеют такой заслуженный успех! Вся зала была в восторге, и был «гром аплодисментов»! Очень надеюсь, что Вы нам доставите удовольствие и зайдете к нам — когда у Вас будет время!

Шлем Вам наш дружеский привет и сердечно благодарим. Александр и Екатерина Серебряковы.

А вот письмо деловое:

Париж, понедельник, 7 марта 1972 г.

17, rue d'Anmale, 9,

tel: Pig-68-96.

Дорогой Валерий Иванович!

После Вашего визита я нашел в библиотеке на «rue d'Aumale» – «Annuaire National des Beaux Arts» (издание 1969–1970 гг.), из которого сделал копию про художницу Евгению Минаш, и пересылаю ее Вам: там стоит ее адрес, телефон и сведения про ее главные работы.

Я не был с ней знаком, но знал эту художницу по ея работам. Думаю, на ее старом адресе можно узнать, кто занимается ея работами? После ея смерти...

Я и сестра много думаем про Вашу мысль устроить выставку русских художников, здесь в Париже. Но это очень большая задача, и если делать такую выставку, то ее надо очень внимательно выбрать и обдумать! И здесь, в Париже, где столько «течений» в искусстве, надо быть крайне осторожным с «критикой»... которая беспощадна. Сестра просит передать Вам привет! Крепко жму Вашу руку. Искр. Пред. Вам А. Серебряков.

Этот совет я помнил при организации выставки русских художников в рамках «Осеннего салона» в 1972 г.

А вот еще одно письмо, тоже деловое.

Как всегда, аккуратно в правом углу дата, адрес, телефон и ниже текст:

Глубокоуважаемый и Дорогой Валерий Иванович! Посылаю Вам четырнадцать фотографий в красках с картин моей мамы и прилагаю список с оценкой этих вещей. Конечно, у нас есть и другие работы – «натюр морты», пейзажи, типы – то, что мы сейчас посылаем — это является образцами работ, которые мы Вам показывали у нас в мастерской! Мы продолжаем делать документацию в фотоснимках, в красках и в черных фото, чтобы иметь наиболее точный список работ!

Мы будем очень рады повидать Вас и поговорить обо всем. С глубоким уважением и дружеским приветом. Искренне Ваш А. Серебряков.

Выставка работ Зинаиды Серебряковой, о которой идет речь в этом письме, все-таки состоялась, только десять лет спустя, в 1986 г. в Третьяковке, и была приурочена к 100-летию со дня рождения художницы. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Ну да лучше поздно, чем никогда. Я же в это время уже работал в Риме.

Еще одно письмо, которое оказалось в какой-то мере пророческим:

Дорогой Валерий Иванович! Сестра и я узнали недавно, что Вы и Ваша милая супруга покидаете Париж и будете работать в другой стране!..

Очень, очень сожалеем, что Вы уезжаете, мы всегда были так рады видеть Вас!

Все же надеемся, что Вы будете время от времени приезжать в Париж? И навестите нас. Сестра и я шлем Вам наш дружеский сердечный привет. Искр. Преданный Вам А. Серебряков.

В Париж я действительно вернулся. Только 17 лет спустя. Катя и Саша были живы, и мы очень обрадовались встрече. Только они были очень старенькими, седыми, как одуванчики.

Мне пришлось заниматься организацией еще одной выставки работ большой русской художницы — Зинаиды Евгеньевны Серебряковой. Но это было уже другое время, другая Франция и другая Россия — демократическая! Русской эмигрантке третьего или, пожалуй, четвертого поколения и большой подруге российского посла во Франции Юрия Алексеевича Рыжова пришла в голову мысль сделать эту выставку в залах посольства. Звали эту женщину Женя (Евгения Михайловна) Флавицкая. Она — внучка художника Флавицкого, того самого, который написал «Княжну Тараканову». Женя Флавицкая — человек невероятной энергии. Она подключила в качестве спонсоров очень мощную в финансовом отношении французскую фирму «Хронопост» (быстрая доставка почты: в течение двух часов на мотоциклах и самолетах — в любую точку Франции, в течение суток — в любую точку мира). Были деньги, были выставочные площади в здании нового посольства РФ на бульваре Ланн, и были картины Серебряковой в собрании ее детей — Кати и Саши (которым в то время было уже за восемьдесят). От посольства ответственный за проведение выставки — советник по культуре, то есть я. Работа была бешеная, куча вопросов: страховка, доставка, постройка стендов, развеска рекламы, печатание и рассылка приглашений, издание каталога и т. д. и т. п. Но, когда есть деньги (а «Хронопост» не поскупился), все вопросы решаемы.

Выставка удалась на славу. Гвоздем экспозиции была компьютерная репродукция автопортрета «За туалетом», того самого, который я сравнивал с живой Зинаидой Евгеньевной. Фокус в том, что размер репродукции 6×9 м, то есть высотой в трехэтажный дом; парадный зал посольства вместил в себя под потолком такую громадину, а внизу, на обтянутых телесного цвета тканью стендах, — чудесные полотна (масло, акварели, пастели). Великолепно изданный по современным полиграфическим технологиям каталог (разве его сравнишь с каталогом, изданным Третьяковкой к 100-летнему юбилею художницы!). Несомненно, эта выставка стала одним из самых значительных событий в культурной жизни «русского» Парижа в 1994 г.

Но... от пережитых во время организации выставки волнений скоропостижно скончался, не дождавшись вернисажа, Александр Борисович Серебряков. Кто бы издал альбом его акварелей — это было бы лучшим памятником такому скромному и такому талантливому человеку!

Мария Васильевна Якунчикова

Все-таки неисповедимы пути Господни! Художница Мария Васильевна Якунчикова умерла в 1902 г., в окрестностях Женевы, не прожив на этом свете и 32 лет. А я родился почти 60 лет спустя в Москве. И вот связал же Бог два своих создания невидимой и непонятной нитью. Сейчас только искусствоведы, редкие знатоки-любители да историки русской живописи помнят это имя. А ведь Мария Васильевна Якунчикова вышла из среды того образованного купечества, которое выдвинуло таких людей, как братья Третьяковы, Савва Мамонтов, К. Станиславский. В доме отца художницы бывали композиторы А. Рубинштейн и А. Скрябин, художник В. Поленов (сестра Марии Васильевны была за ним замужем), К. Станиславский. Горячая дружба связывала Марию Васильевну с сестрой В. Поленова, тоже художницей, Еленой Дмитриевной. Сокурсниками Якунчиковой по Московскому училищу живописи, ваяния и зодчества были И. Левитан, К. Коровин, В. Серов, М. Нестеров. По-моему, уже одного этого достаточно любителю русской живописи, чтобы открыть для себя необычную, трагическую судьбу этой талантливой, но так рано ушедшей из жизни русской художницы.

В посольство позвонил француз, представился архитектором Вебером, сказал, что он сын русской художницы Марии Якунчиковой. По-русски не говорит, так как его мать умерла через неделю после родов, отец — швейцарец, и вот сейчас, на старости лет, он хотел бы побывать в России, о которой он так много слышал, читал, но где никогда не был. Поскольку вышел на пенсию, то заплатить за туристическую поездку ему дороговато, но он мог бы передать советским музеям несколько работ своей матери с условием, что его пригласят дней на десять в Москву и в музей-усадьбу В. Д. Поленова.

Я, честно сказать, тогда (а это был 1974 г.) не знал, кто такая Якунчикова, но добросовестно передал информацию в Министерство культуры. Нет, все-таки не все «серые пиджаки» были невеждами. Были там и «ученые евреи», как шутил Илья Самойлович Зильберштейн. В Москве знали, кто такая Якунчикова, и проявили заинтересованность. Мне поручили заняться этим вопросом. Я и занялся. Написал докладную записку послу, получил разрешение и поехал в крохотный городишко Салланш, недалеко от Женевы, но на территории Франции. Взял с собой жену и пятилетнего сына. Проезжали через Альпы. Из окна машины был виден Монблан. Сережка вопил: «Вон Блан, вон Блан». Так ему было понятней, хотя по-французски и по-русски он говорил уже вполне прилично, поскольку ходил во французский детский сад (эколь матернель). А тут произошло такое странное, но вполне допустимое смешение двух языков.

На маленькой вилле — шикарной по нашим понятиям и скромненькой по понятиям французским, а тем более швейцарским — нашли одинокого седенького старика. Это и был сын Якунчиковой, отставной архитектор мсье Вебер. Оказалось все же, что он немножко говорит по-русски. Его взрослая дочь Ирэн в тот день была на работе в Швейцарии, куда она ездила каждый день через границу, 25 минут туда-обратно, на стареньком пежо. Старик стал извиняться, что не может нас угостить с дороги, машину забрала дочь. «Но

у нас с собой было», если верить популярному Жванецкому. Жена сделала бутерброды с икоркой, открыли бутылочку русской водочки (страшное орудие в борьбе с французской буржуазией — опытные дипломаты всегда возили в багажнике 2–3 бутылки). Вебер был в восторге. Через час приехала его дочь. Я забрал картины. Нас сфотографировали «Полароидом» и подарили фото на память; на снимке Вебер по-русски написал печатными буквами: «В красной рубашоночке, хорошенький такой» — Сережка был в красной маечке. Видимо, в молодости Вебер бывал в цыганских ресторанах. Картины я отправил в Министерство культуры, а Веберы побывали в Москве, Тарусе и в музее-усадьбе В. Д. Поленова. Вернулись в восхищении — их очень хорошо приняли. А в двух московских газетах («Вечерняя Москва» и «Советская культура») в рубрике «Поиски и находки» опубликованы большие статьи о художнице Якунчиковой. Автором одной из них был внук художника Поленова, директор музея-усадьбы Федор Поленов, капитан первого ранга в отставке, известный в то время в СССР защитник и пропагандист русской культуры. Но все равно невыездной: на флоте служил — секреты знает. В своей статье Федор Поленов приводит строки из рецензии французского журналиста с выставки Якунчиковой, прошедшей в десятую годовщину ее смерти, то есть в 1912 г.: «...как очарованный ходишь по комнатам, стены которых увешаны картинами М. В. Здесь и Версаль, и Венеция, и рядом проселочные дороги, Монблан и покрившиеся кресты, колодцы, колонны, террасы с видом в бесконечную даль...».

Прошли годы. Сын уже заканчивал десятилетку в школе имени В. Д. Поленова на Арбате. Школьники шефствовали над музеем-усадьбой, летом убирали территорию, водили экскурсии. И мы с Серегой поехали туда в воскресенье. Я встретился с директором музея Федором Дмитриевичем Поленовым, рассказал ему, как отправлял в его музей лет десять тому назад картины Якунчиковой. «Пойдемте, я вам что-то покажу», — сказал он и повел нас в одну из зал музея. «Здесь у нас экспозиция, посвященная творчеству М. В. Якунчиковой. Она почти полностью укомплектована картинами, полученными из Франции. Кое-что, правда, мы добавили из запасников нашего музея, ведь Якунчикова была очень близка с сестрой В. Д. Поленова Еленой Дмитриевной, тоже очень известной в свое время художницей. Вот эскиз к панно-гобелену „Девочка и леший“, вот первоклассные этюды „Зимняя аллея“, „Окно“, „Молодые сосны“, „Рожь“, целая серия офортов, резьба по дереву и выжигание по дереву. Эти вещи составляют гордость нашего музея. А еще трудами научных сотрудников нашего музея издана монография, посвященная творчеству этой талантливейшей русской художницы». И подарил мне эту книжку, которой я очень дорожу как памятью о Марии Якунчиковой.

В отличие от Марии Башкирцевой (тоже на редкость талантливой русской художницы), оставившей современникам прекрасные мемуары, Якунчикова мемуаров не оставила, но написала историкам много картин. Поезжайте в Поленово — увидите сами.